

STUDIA PHILOLOGICA

---

---



ИРИНА БЕНЦИОНОВНА РОДНЯНСКАЯ

---

---

ДВИЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Том I



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР

Москва 2006

ББК 83.3(2Рос=Рус)  
Р 60

Издание осуществлено при поддержке  
*Российского гуманитарного научного фонда*  
(РГНФ)  
проект <sup>1</sup> 05-04-16261

**Роднянская И. Б.**

Р 60 Движение литературы. Т. 1. — М.: Знак: Языки славянских культур, 2006. — 712 с. — (Studia philologica).

ISSN 1726-135X  
ISBN 5-9551-0146-2

В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотношении с тенденциями и с классическими именами XIX — первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, — мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.

Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Маканин, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.

В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.

Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).

**83.3**

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 5-9551-0146-2

© Роднянская И. Б., 2006  
© Языки славянских культур, 2006

## СОДЕРЖАНИЕ

От автора . . . . .	5
Беседа с автором о профессии . . . . .	7

### ЧАСТЬ I. ОТ ПУШКИНА И ГОГОЛЯ ДО ПЛАТОНОВА И ЗАБОЛОЦКОГО

Пропущенное звено в разговоре о назначении поэта. . .	19
Поэтическая афористика Пушкина и идеологические понятия наших дней. . . . .	29
Герой лирики Лермонтова. . . . .	42
Демон ускользающий . . . . .	63
Развязка «Женитьбы», или Чему смеемся? . . . . .	90
«Братья Карамазовы» как завет Достоевского. . . . .	124
Общественный идеал Достоевского . . . . .	143
«Белая Лилия» как образец мистерии-буфф: К вопросу о жанре и типе юмора пьесы Владимира Соловьева . . . . .	164
Трагическая муза Блока . . . . .	183
Глубокая борозда: Константин Случевский: через голову Серебряного века . . . . .	214
Лирический образ вещи в поэзии двадцатого века . . .	229
Свободно блуждающее слово: К философии и поэтике семантического сдвига . . . . .	250
Возвращенные поэты . . . . .	269
«Столбцы» Николая Заболоцкого в художественной ситуации двадцатых годов . . . . .	299
«Сердечная озадаченность» . . . . .	330
Единый текст . . . . .	361

### ЧАСТЬ II. О ДВИЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ

О беллетристике и «строгом» искусстве . . . . .	377
Встречи и поединки в типовом доме . . . . .	405

---

<i>Между</i>	
Конец занимательности? . . . . .	441
В зоне непредвиденного . . . . .	450
Гипсовый ветер: О философской интоксикации в текущей словесности . . . . .	459
<i>Между</i>	
Расслоение романа . . . . .	494
Гамбургский ежик в тумане: Кое-что о плохой хорошей литературе . . . . .	501
<i>Персоналии</i>	
Образ и роль (Андрей Битов). . . . .	531
Преодоление опыта, или Двадцать лет странствий (Андрей Битов) . . . . .	551
Новые сведения о человеке (Андрей Битов) . . . . .	572
Этюд о начале (Андрей Битов). . . . .	589
Незнакомые знакомцы (Владимир Маканин) . . . . .	599
Сюжеты тревоги: Маканин под знаком «новой жестокости». . . . .	635
Уроки четвертого узла (Александр Солженицын). . . . .	657
Род людской (Борис Екимов) . . . . .	667
Марс из бездны (Олег Ермаков) . . . . .	675
Жизнь врасплох (Ольга Шамборант) . . . . .	688
Жизнь реальна, как рубашка (Евгений Гришковец). . . . .	702

## От автора

Настоящая книга формировалась в течение четырех последних десятилетий преимущественно как повременные наблюдения за текущей отечественной поэзией и прозой. Однако мною как литературным критиком руководила непреходящая потребность соотносить эти свои наблюдения с классическими именами XIX и XX столетий (без какого-либо включения в «большое время» анализ текущего потерял бы для меня смысл), а также — с философско-идеологическими мотивами и филологическими идеями, находившимися в обороте заодно с современной мне литературной продукцией. Состав и структура книги, надеюсь, отражают разнонаправленность и единство интересов ее автора.

Моя неизменная благодарность — другу и постоянному собеседнику, философу Ренате Александровне Гальцевой, в соавторстве с которой написаны, в частности, два представленных в двухтомнике текста; Сергею Георгиевичу Бочарову, к чьим советам я прислушивалась и чья филологическая работа представлялась мне ориентиром; филологу и критику Михаилу Юрьевичу Эдельштейну, помогавшему мне в структурировании книги; сыну известного стиховеда Ярославу Александровичу Квятковскому, принявшему участие в технической подготовке рукописи; наконец, давним и нынешним сотрудникам журнала «Новый мир», на страницах которого находило первоначальное пристанище многое из того, что теперь входит в книгу.

При чтении прошу заметить, что разрядка в цитатах принадлежит автору книги, а курсив — авторам цитируемых отрывков.





**Беседа с автором о профессии**  
*Беседу провела Т. А. Касаткина*

**Ирина Роднянская:** У Вас был вопрос о предмете и границах литературоведения. Ну, прежде всего, само это слово — *литературоведение* — чрезвычайно искусственно. Даже подзреваю, хотя так и не проверила, что появилось оно у нас в 30-х годах, в соответствующую советскую эпоху. И чуть ли не всякий, кто занимается тем, что это слово должно покрывать, боится его, как чумной заразы, и в разных справках о себе старается писать что угодно: филолог, историк литературы, культуролог (хотя «культуролог» — тоже слово неважное). Но только не «литературовед». За этим, видимо, стоит некое не до конца вербализованное ощущение, что это искусственное слово или безмерно широко, или вообще ничего не означает. Или — слишком много, или — ничего. С тем, что оно означает слишком многое, можно примириться, потому что, если счесть это понятие просто указанием на внимание к одному определенному предмету, проявляемое в разнообразных формах, тогда оно, обсуждаемое понятие, получает кое-какие права. Предмет же этот, как, кстати, лаконично констатирует «Литературный энциклопедический словарь», — художественная литература. И вот, исходя из этого, я бы сказала, что литературоведом является всякий, кто пишет нехудожественные (не беллетристические) тексты о художественной литературе, каковы бы они ни были. От цифири, которой занималась школа Колмогорова, до, предположим, «Писем о русской поэзии» Гумилева или «Книги отражений» И. Анненского. От стиховедения Андрея Белого до «образа автора» в исследованиях Бахтина, хотя философ Бахтин решительно перешагивает «литературоведческую» границу понятия «автор» и говорит уже о Творце (Авторе) миров. Да, все это — от «Мильона терзаний» Гончарова до современных деконструктивистов — можно посчитать литературоведением и только при та-

ком условии примириться с термином, не стараясь его уточнить, дотошно онаучивать.

Между тем у этого рода занятий есть все-таки свое ядро, свое сердце. Вот это-то сердце «соседи» со смежных территорий знания пытаются из литературоведения изъять — аннигилировать как ненужное, антинаучное, обветшавшее. Что же это за сердцевина такая? Ну, сами понимаете, — не история литературы, поскольку это часть истории культуры, естественным образом смыкающаяся с нею. Это не поэтика, поскольку поэтика — как литературная теория вообще — законная часть эстетики (вспомним Аристотеля). Это не вполне филология, потому что филология есть специфическая работа над текстом, его пристальное комментирование, изучение его генетических микросвязей. Что-то «отхватывает» себе философия, большой кус — социология, так как социология чтения не может не касаться функционирования текстов в десятилетиях и веках, т. е. и литературоведческой проблемы. Короче, я думаю, что это самое «ядро», подозрительное и неприемлемое, даже ненавидимое за «архаичность», антипозитивность и «рефлектерство», — *герменевтика* и *экзегеза* художественного произведения (воспользуемся терминами из несколько сторонней области). Потому что именно *чтение* художественного текста, определенным образом имманентное ему самому, и превращает пишущего о литературе в *ведающего* литературу; он тогда становится в каком-то преимущественном смысле литературоведом.

Тут встает вопрос, который мне лично не слишком интересен, но который всегда на устах у профессиональной ответственности: является ли это наукой? Что ж, соглашусь, что это не наука (science), а *дисциплина*, дисциплина в двух смыслах: во-первых, дисциплина как область некоторого знания, во-вторых, дисциплина в буквальном, ближайшем значении этого слова — как дисциплина прочтения, а не произвол прочтения. В этой связи еще один вопрос маячит, его и Вы не могли мне не задать, и я сама над этим много размышляла, потому, в частности, что писала для энциклопедий некоторый статейный цикл, трактующий о *художественном образе* и *художественности* (понятия, выходящие из употребления вместе с классической эстетикой). Вопрос этот — о пределах интерпретации. Могу сказать, в чем, по-моему, идеал дисциплинированно-

го чтения, делающего литературоведа интерпретатором. Это пребывание одновременно и внутри и вне произведения.

Что значит «находиться внутри произведения»? Это значит конгениально автору выявлять его акцентуацию, а не заменять ее сходу своей собственной. Ведь состоятельное произведение искусства многозначно, но не сколь угодно-значно, и, говоря несколько механическим языком, в него вмонтированы посреди «мест неполной определенности» (Р. Ингарден) некие смысловые определители и ограничители, игнорировать которые значит ломать вещь через колено. Интерпретатор не обязательно должен выяснять, что *хотел* сказать автор (хотя такая реконструкция желательна, а в текущей критике подчас насущна), но ему следует выяснить, что же автором сказалось, прежде чем примерять к этому «что» собственную мыслительную раму. Для этого не существует алгоритма, хотя безусловно предполагаются некие вспомогательные приемы и навыки, связанные с пониманием эпохи, ее стилистики, с учетом интертекстуальности во всех ее гранях... Но (к вопросу о научности) все-таки — это чтение как первичное приближение к тексту, и инструментом такого чтения служит эстетическая эмоция, включенность аппарата восприятия, живого реагирования на задачу, реализуемую художественной вещью. И лишь «задействовав» этот аппарат (а не одну только сумму предварительных знаний), можно ощутить те акценты, которые сознательно или произвольно расставил автор, и не спутать их ни с чем другим. Для этого от исследователя-интерпретатора требуется самоограничение, не то самоограничение, когда боязно залезть в соседнюю область, боязно оказаться на одной полянке с социологом или философом, а то самоограничение, когда личность автора, начертавшая себя посредством особой маркировки на произведении, как автограф, не насилуется, а для начала принимается как таковая. Эту процедуру можно перевести на немного «птичий» язык гуссерлианской феноменологии (опять сошлюсь на такого хорошего феноменолога-эстетика, как Роман Ингарден), но дело не в языке, а в обязательствах интерпретатора, в акте его первичного, так сказать, бескорыстия.

Но поскольку существует не только правда художника, которая являет себя как реализация его замысла, — причем здесь случается проследить, насколько художник дал этому замыслу осуществиться, не мешая ему своим произвольным

вторжением, идеологическим или иным, — поскольку существует еще мировоззрение самого истолкователя, то, что считает правдой он, — постольку второй этап процедуры — это неизбежное сопоставление истины данного творения, с той истиной, которую исследователь считает объективной, или, если угодно, высшей. И вот здесь уже совершается до-объяснение произведения — не из него самого, а из обстоятельств его создания, может быть, не до конца осознававшихся самим автором, — биографических, духовных, эпохальных и пр. Совершается *суд* над произведением, т. е. (по-гречески) его *критика* с позиций, так или иначе ему трансцендентных. И вот такое нахождение сразу внутри и вне — оно и есть, по моему разумению, двухтактовая задача интерпретатора; решая ее, он и становится «ведающим» данное художественное создание.

Приведу пример из Белинского, которого люблю, несмотря на все прегрешения, накопившиеся в его последнем, позитивистско-западническом периоде, когда он стал сознательно отодвигать эстетическое суждение на второй план во имя поддержки своей литературной партии. Скажем, его несправедливое — что ему теперь часто поминают — отношение к Боратынскому. Если мне не изменяет память, Белинский в статье о нем безошибочно выделяет его высшие, принципиальные создания, в том числе цитирует «Последнего поэта» с эстетическим восторгом, и только после этого резюмирует, что у Боратынского отсталая точка зрения на грядущее, что будут железные дороги, будет положительное развитие, прогресс и т. д.

По мне, конечно, XX век показал большую правоту Боратынского, хотя и сейчас не все, наверное, со мной согласятся; но вот то, что сначала дана воля эстетическому переживанию, притом без колебаний направленному на достойный объект (у Боратынского ведь, даже в «Сумерках», всякие стихи есть), и лишь потом собственное кредо противопоставлено верованиям поэта, это для меня свидетельство, что критик не весь отдался во власть *тенденции* и остался человеком, *ведающим* искусству. Пусть этот пример элементарен, зато он нагляден.

Что касается литературной критики, о чем у нас с Вами тоже предполагалось поговорить, я, по чести, не вижу никакой специальной границы между литературоведением и ею. Ну, можно сказать, что критика как жанр журнальный в отличие от литературоведения, имеющего более специализиро-

ванный адрес, стилистически непринужденное, эссеистичнее. И только. Вадим Кожин когда-то писал, что критика предполагает участие в борьбе литературных лагерей на той или иной стороне, что в ней можно и должно быть пристрастным, быть идейным полемистом, поднимать на щит своих и расправляться с чужими, как это вообще водится в журналистике; ну, а литературовед — это человек, который занят словесностью прошлого и блюдет объективность, отрешаясь от своих литературных пристрастий. Я думаю, что это (во втором случае) абсолютно невыполнимое условие, и на примере самого Кожина видим, что, обращаясь к прошлому, он его интерпретировал как правило достаточно пристрастно. Затем: по моим наблюдениям, люди, хоть сколько-то примечательные в литературной критике непременно занимаются и тем, что мы с Вами условно назвали литературоведением. И наоборот: я не знаю ни одного значительного исследователя литературного прошлого, который не делал бы вылазку, крайне заинтересованную, в текущее литературное движение, — и чем больше все это будет походить на сообщающиеся сосуды, тем лучше для сочинений о литературе. Жесткие деления здесь либо плод доктринерства, либо ставят критику в положение информационно-рекламной отрасли на рынке печати, а литературоведение запирают в какой-то отсек, где современности запрещено влиять на оптику исследователя, что вряд ли возможно и к тому же вредно.

**Татьяна Касаткина:** А что Вы сказали бы о литературоведении в Вашей жизни?

**И. Р.:** Я дилетант и никогда не числила себя в литературоведах, хотя, случается, пишу о себе это слово, раз другие анкетные слова еще сомнительней. Но стараюсь не писать. Дело в том, что, будучи критиком, я не могла удержаться от того, чтобы сочинять что-то и о классике, ведь я уже говорила, что между критиком и литературоведом не может быть неодолимой границы, и критик, который ни разу не писал ни о Пушкине, ни о Достоевском, ни о Блоке, ни о Мандельштаме, произвел над собою, по-моему, какую-то вивисекцию. Кроме того, в 70-е годы обстоятельства складывались так (и это нынче подвергается довольно иронической переоценке), что из критики в так называемое литературоведение, в так называемое свежее прочтение классики ушло немало пишущего народу. Просто потому, что не хотелось лгать, не хотелось

быть причастным к ложной шкале ценностей, а противиться ей было почти бесполезно: даже если напишешь, к примеру, о настоящем писателе Андрее Битове, все равно статья (к тому же после цензурного ее процеживания) потонет в сонме дежурных похвал Георгию Маркову и ему подобным. Коротче, в текущей литературе хозяйничали чужие люди, программируемые официальной идеологией и лицемерием собственного клана. И тогда, повторяю, многие ушли в прошлое, но ушли как критики, то есть это не были патентованные филологические штудии, это была эссеистика с актуальными выходами, чему-то пытавшаяся учить, напомнить что-то о высших началах жизни. Сказанное относится и ко мне. Да и конкретное стечение обстоятельств диктовало предмет занятий, их русло: если, допустим, тебя не печатают в журналах, а предлагают писать для «Лермонтовской энциклопедии», то статей двадцать я туда и написала. И с занятиями теорией литературы — то же самое.

Еще Достоевский долго был предметом моего особого — здесь даже можно сказать — изучения, я действительно обдумывала едва ли не каждую его строчку, включая черновики, и регулярно знакомилась с литературой о нем, хотя написала немногое.

В общем, из того, что можно хоть отчасти назвать литературоведением, получились у меня встречи с Лермонтовым, Достоевским, неожиданно — с Блоком. К его юбилею 1980 года «Новый мир» (почему-то!) предложил мне написать довольно пространную статью, от работы над которой у меня сохранилась огромная папка материалов и собственных заметок; полагаю, что встретила с Блоком не дежурно, не журналистски юбилейно, а более серьезно. И в последнее время осмелилась кое-что сочинить о Пушкине, тоже, как кажется, выйдя за рамки журнализма. Без всего этого было бы скучно и тоскливо, я ведь и русской философией занималась (-юсь), а при этом нельзя не обращаться к русской литературной классике; если всерьез интересуешься Владимиром Соловьевым, то понятно — что и всеми, на кого распространялись его эстетические суждения. Просто страшно подумать, что этого утешительного сектора в моих литературских занятиях могло не быть.

**Т. К.:** Ну а насчет нынешнего состояния литературоведения и людей, с ним так или иначе связанных — как у них ме-

няются цели, задачи, понимание своего места в науке о литературе?

**И. Р.:** Боюсь, что развернуто ответить на этот вопрос — за пределами моей компетенции. Я очень ценю, именно в связи с тем «сердцем» и «ядром» литературоведения, о котором я говорила, труды Сергея Георгиевича Бочарова. Думаю, его последняя книга — «Сюжеты русской литературы» — является в каких-то отношениях ответом на вызов современных течений социологии литературы, деконструктивизма (который, кстати, является чисто философским, а не литературно-эстетическим методом), отбивая у них, отстаивая то самое пространство интерпретации — идущее от текста как художественного мира и лишь в итоге «за» текст. Очень может быть, что это воспринимается новейшей генерацией людей, пишущих о художественной литературе, как отсталость. Не знаю, как он, но я морально к этому готова, хотя и немного грустно, что дела идут таким образом. Я уже не раз читала у современных культурологов определенного круга, что все эти «прочтения» просто смешны, что пора и в нашем деле переходить на социологические рельсы, исходить из последних слов психоанализа, неофрейдизма, изучать литературу как часть культурной археологии и так далее, — кому, дескать нужно соотное прочтение «Евгения Онегина», предлагаемое болтунами, которые не опираются ни на какие позитивные методики, а вслушиваются в свои душевные вибрации, разве это котируется на мировых интеллектуальных рынках? Думаю, такое наступление на нашу традиционную любовь к нормальной гуманитарии будет вестись очень долго — до собственного полнейшего изживания. Помните, Бердяев говорил, что зло изживается на имманентных путях. Эта бердяевская идея, теологически, быть может, и сомнительная, приложима к некоторым теориям, которые гаснут без всякой видимой борьбы с ними. Так что и эта мода, эти веяния исчерпают себя со временем, но если говорить о сегодняшнем дне, считаю, что перекос в профессиональном кругу (я имею в виду прежде всего журнал «Новое литературное обозрение») — на стороне этих воззрений, и с ними надо считаться хотя бы просто как с фактом текущей умственной жизни.

**Т. К.:** В связи с этим — вопрос о проблеме мировоззрения исследователя. По мнению, например, «Нового литературного обозрения», у исследователя не должно быть мировоззре-